

Игорь Шестков "Июнь"

Хорошо в Москве в июне. Особенно, когда тебе пятнадцать лет и ты на лавочке сидишь, пироженое ешь и с дружкой болтаешь. Вкусные пирожные продавали в начале семидесятых в кулинарии ресторана «Кристалл» на Ленинском проспекте. Это там, где потом была «Гавана». А сейчас казино, сауна и бордель «Гладиатор», в котором можно, согласно рекламе, «окупиться в атмосферу средневековья».

Да, вкусные и недорогие были пирожные. Я взял эклер и миндальное, все вместе – двадцать шесть копеек. А Витька Рубин купил два куса пражского торта. Витька маленький и толстый, любит шоколад. А я предпочитаю эклер. Тесто у эклера нежное, крем сладкий и жирный. Съешь один – и растечется слюна по рту. Еще хочется. А ты вместо второго эклера мягкий миндальный кружочек откусишь и не жуешь... Пусть тает...

Восемь классов отучились. Кайф! Выхлопными газами приятно пахнет. Что-то в них есть наркотическое. Зелень в июньском огне горит и не сгорает. Ленинский слепит отражениями. Не проспект, а путь в светлое будущее, как на плакате написано. Асфальт от жары как лава течет, и воздух над ним плавится, фата-морганы представляются. Море видно. Кораблики плавают.

Впереди каникулы. Большой кусок синей теплой пустоты. Расслабиться можно, пожить. Помечтать о любви. А может быть и не только помечтать, но и за мякоть потрогать. Или даже пальчиком туда... Вот, наверно, сладко, слаще эклера, слаще сочного томного дурака – пражского торта. Тридцать три веселых капитана девочку поймали у фонтана... Быстро трусики стянули... Началась веселая игра.

Так сидели мы на залитом солнечным светом Ленинском, блаженствовали, пирожные доедали. В неведеньи, как в приятном сне. Витькины губы измазаны шоколадным кремом. Длинные бело-розовые пальчики с маленькими ногтями работают как щупальцы. Аккуратно, легко. А я свои обрубки стараюсь не показывать. Стесняюсь.

Спросил: «Ты куда летом собрался?»

«На дачу, а потом в Судак. А ты?»

«В Ферсановку. Надоело... Но разве олдам объяснишь что-нибудь? Слушай, Витьк, а там девушки есть, в Судаке?»

«Аск! Там Генуэзская крепость, пещеры, монастырь, и красавицы на пляже валяются, ножки раздвигают, так, что волосики видно».

«Попробуй такую красавицу между ног погладь – первым под руку попавшимся камнем в лоб влепит».

«Слушай, что расскажу. Я вчера у одного знакомого был. В креслах сидели.

Представляешь, входит вдруг в комнату его дочка, лет шести, подходит к отцу и ширинку ему расстегивает. А тот сидит, «Литературку» читает. Достает она его член из штанов, как Маяк свою краснокожую паспортину, и начинает облизывать и сосать. Воот такое эскимо! Здорово, а? Пососала у отца и спать ушла».

«Кто же он такой? Макаренко?»

«Писатель. Популярные исторические романы пишет. Говорил, что десять тысяч лет назад все так жили».

«Писатели всё знают. Им виднее. Скажи честно, сейчас придумал? Или еще вчера?»

Идиотские шуточки были у нас в ходу. Витька часто меня поддевал. И я в долгу не оставался.

«Нет, правда, сосала как водочка!» – настаивал Рубин, надев на лицо загадочную улыбку Джоконды.

«Витьк, а ты пи..у, видел?»

«Один раз. Когда маленький был. У мамы. Волосатая, с розовыми губами. Мать спала, ноги раскрыла. Я испугался, укрыл ее. А потом еще раз одеяло приподнял. С тех пор не видел. Только у малышни на пляже – мышки-щелки...

Он еще говорил, – раньше матери с сыновьями спали. Вот это я понимаю... Отца часто голого вижу. Он меня в ванну вызывает, спину тереть. Веснушки у него везде или родимые пятна, не знаю. И х.. такой темный, старый, в складках, как гриб. Тон-тон, у тебя просто так встает?»

«У меня встает на все, что не надо. На автобус, на Метромост. На Солнце. И на

памятник Ленину. А вот когда влюблен не встает. Три месяца назад втюрился я в одну черноглазую. В какую, не скажу, а то ты всем разболтаешь. Хотел пососаться, не дала. Только обнимались. Сердце мое горело, а член спал. Мне казалось, что я сам член. Пламенный».

«Ты бы сегодня об этом в сочинении написал. Кем я стану... Стану, мол, пламенным членом... Политбюро... Ты о чем писал, о Радищеве? Или про Кошевого?»

«Про Кошевого. Я и трети «Путешествия» не осилил. Не читается. Язык допотопный. Другое дело «Молодая Гвардия». Гестаповцы раздевают и терзают Улю Громову. А она запекает «Замучен тяжелой неволей». Клёво! Ты знаешь, что случилось, когда мне шесть лет было? Меня чуть сексуальный маньяк в Крыму не украл. В Симферополе. На площади у вокзала. Мы с бабушкой в Алушке отдыхали. На обратном пути, из Ялты в Симферополь, таксист пассажиров пугал, говорил, банда в Крыму орудует. Воруют детей. Насилуют, а потом в лесу живьем сжигают. Нашли тогда будто бы пять обгоревших трупов. В горах, недалеко от старой дороги на Ялту. Приехали мы в Симферополь, на вокзал. Бабушка в туалет пошла. А там очередь. Стоять надо долго. Меня на площадке оставила. Там много детей бегало. Вдруг подходит ко мне дядька какой-то и говорит – хочешь клубнички свежей? Только что на базаре купил. И подает мне газетный кулек. В нем клубника. Крупная. Голос мне шепнул – не бери! А я взял. Одну ягодку. Потом еще одну. Я клубнику ем, а дядька на меня смотрит. Жадно и пристально. Говорит – у меня и черешня есть. Целое ведро. В машине. И показывает мне на москвич, старый-престарый... Пойдем туда, помотришь на мой автомобиль, черешни поешь. Тут мне опять голос внутренний шепнул – не ходи! Не послушал, пошел. А два наших чемодана на площадке остались. Подошли мы к машине. Дядька дверь открыл. На заднем сиденье стоит ведро. Но в ведре не черешня, а три окровавленных человеческих руки, пальцами вверх, как куриные лапы. И ногти у них синие, длинные, винтом. А рядом ржавая пила валяется... Я от страха онемел. А дядька схватил меня железными протезами и как заорет – отдай мне свои руки!!!»

«А в другом ведре – ноги. Ногти как сабли. А рядом точильный станок. Загибай, загибай дальше!»

«Все было, как я сказал. Только в ведре, действительно, черешня была. Угостил меня дядька черешней. И уговаривать начал – поедем ко мне сейчас домой, там у меня во дворе шелковица, сладость одна! А вечером в театр пойдём. «Синюю птицу» смотреть. У меня два билета есть. И билеты мне сует. Одной рукой мне билеты сует, внимание отвлекает, другой в машину тянет. И глазами на меня крысчячими пялится. Рычит, хрипит... Когда я уже в машине сидел, и дядька дверь закрывал, подскочила к нам как вихрь моя бабушка. За руку меня, и из машины вон. Милиция, кричит, милиция! Прохожие на нас зенки вытарацили. А дядька тут же слинял. На своем москвиче».

«У нас на даче кот каждый день по пять синих птиц мертвых приносит. Думает, так лучше. Мать его газетой лупит за это, но он все равно приносит. Что бы дядька этот с тобой сделал? В попу бы выдрал, а потом придушил. Или в погребу бы запер и мучил?»

«Не знаю. Я тогда и не испугался даже. Очень уж шелковицу любил».

«Тон-Тон, ты ведь дом большой знаешь, на Университетском? С башнями. Мы раньше там жили. Так вот, у большого полукруглого окна на лестничной клетке между первым и вторым этажом нашего подъезда дети собирались – друг друга страшными рассказами пугать. Машка Федотова рассказывала про мать. Слушай сюда. Умерла у одной девочки мать. Ее похоронили на кладбище в черном гробу. Девочка легла дома одна спать. Вдруг радио само включается и говорит: «Мать вылезает из гроба». Девочка подумала, что ослышалась, и заснула. Через двадцать минут радио говорит: «Мать идет домой». Девочка проснулась, но опять подумала, что ослышалась. Опять заснула. Еще через двадцать минут радио говорит: «Мать подходит к дому». Девочка проснулась и больше не могла заснуть. Через пять минут радио говорит: «Мать входит в подъезд». Девочка заплакала от страха. Радио говорит: «Мать подходит к двери». Девочка застучала зубами. Радио говорит: «Мать входит в квартиру». Девочка окаменела. Радио говорит: «Мать рядом с тобой». Мертвая мать говорит девочке: «Мне холодно, мне голодно, я пришла, чтобы забрать тебя, пойдём на кладбище, в мою могилу. Мы ляжем в мой гроб и ты согреешь меня. А потом я буду есть твоё мясо... Так вот, я недавно узнал, что у Машки потом, когда ей лет десять было, умерла мать. На самом деле. А Машка после похорон пропала. Так до сих

пор и не объявилась».

«А отец?»

«Не знаю, может он еще раньше из семьи ушел... И про отца один пацан тоже рассказывал. Васька... У мальчика умер отец. У него были черные ногти. Его похоронили. Через день пошел мальчик на базар, купить что-нибудь поесть. Видит – баба торгует пирожками с мясом. Мальчик купил пирожок, стал есть. Подавился, закашлялся и выплюнул человеческий палец. Палец был с черным ногтем. Мальчик узнал палец. Побежал к Шелохолсу (так Васька Шерлока Холмса называл). Шелохолс пошел на базар. Нашел бабу с пирожками. Купил пирожок. Отошел. Разломил его – внутри глаз. Глаз смотрит на Шелохолса. Голос говорит: «Иди к бабе в подвал, там лежит мясо». Пошел Шелохолс к бабе в подвал. Не может войти – двери заперты. Он спрятался. Ждет. Пришла баба, открыла замок. Он вошел за ней. Баба ушла. Шелохолс пошел в комнату. Видит – комната до потолка заполнена человеческими пальцами. Пошел в другую – та комната полна глазами. Глаза смотрят на Шелохолса. Голос говорит ему: «Иди туда и туда, на кладбище. Там баба и дед могилы роют. Вырывают покойников и делают из их мяса пирожки».

«Ну и чего? И у Васьки отец умер?»

«Не знаю, но, говорят, что пирожки с мясом, которые у универмага «Москва» продают, – из человеческого мяса».

«Пи.дить изволишь!»

«Ты про свою синюю птицу и черешню не наврал?»

«А ты, про своего Макаренко? Девочка шести лет. Сказал бы еще грудной младенец тятюку сосет!»

«И грудные сосут, на острове Тахо-Тиха так детей выкармливают».

«А что на острове Не-пи..и-Ка происходит? Макаренко! А ты знаешь, что меня чуть Мосгаз не задушил?»

«А Мослеспром тебя на куски не распиливал? Или Росглавлегснаббытсырье? Или Тяжмашзагранпоставка?»

Расстались мы мирно. Витька на автобусе уехал. А я вниз по Ленинскому поплелся. Забавно, как раз тогда, когда мы спорили, в неведомом кабинете неприятного учреждения, в котором коммунистические начальники судьбу

сограждан решают, некто Рябов подписал одну бумажку. И печать поставил. Подписал, потому что получил за это взятку от витькиного папы, бывшего главного экономиста в министерстве. И бумажка эта, выйдя от Рябова, уже на следующий день оказалась в почтовом ящике квартиры Рубиных на шестнадцатом этаже высотного жилого дома на Ленинском проспекте. Чудесной квартиры с видом на лес и озеро. И изменила эта волшебная бумажка витькину жизнь. Ни дачи, ни Судака он больше не увидел. Потому что уже через неделю унесла его белая алюминиевая птица из СССР навсегда. За горы и моря. На новом месте Витьке понравилось. Тепло, по радио рок-н-ролл передают, а не Людмилу Зыкину, и девушки не жеманные. С черными или рыжими кудряшками все. Закончил он там школу и пошел перед университетом в армию. И убили его там, в пустыне, непонятные темные люди, арабы. И очень обрадовались его смерти. А тело его целый день по улицам на веревке волочили. И маленькие девочки пинали его ногами...

А со мной вот что случилось. Шел я по Ленинскому в сторону «Синтетика».захотел перейти проспект, но на переходе застрял. Правительственный кортеж из Внукова в центр мчался. Вначале волга новая пролетела. С разноцветными мигалками. Сиреной оглушила. Только-только появились тогда в Москве эти машины. Все их ждали, надеялись. Думали, будет как кадиллак. За волгой черные зилы понеслись. Сточетырнадцатые. Зашуршали. Брежнев наверное или какая-нибудь шушера. Много зил. Все их боялись. Такие задавят, не заметят. Скорость под двести. И масса как у танка. После зил – черные чайки. Штук тридцать. Вр-вр-вр... Проехали начальники. Теперь идти можно. Ну я и побежал. Не заметил вылетевшей сверху, как из облаков, последней, отставшей от кортежа, белой чайки. Не услышал крика прохожих – стой! Ты куда! Не почувствовал удара ребристой чайкиной морды. Не заметил как взлетел, не понял, что умер в воздухе. Не видел, как чайка остановилась, как из нее вышел растерянный шофер. Не мог помочь женщинам, бившим шофера сумками. Не видел бутылку кефира с зеленой крышечкой, вылетевшую у кого-то из сумки и валявшуюся рядом со мной на асфальте. Не видел и как народ отогнали люди в одинаковых костюмах, как забрали мое тело...

Хоронили меня на Востряковском кладбище. Там, где тела не разлагаются, а

замыливаются и как пластиковые куклы в пене вонючей десятилетиями лежат. И червь их не ест и бактерии не трогают. Мои родные на похоронах плакали, особенно мать убивалась, а одноклассники шутили, дурачились, в салочки играли. Андрюха Шаповал за Наташей Марец бегал, той самой, черноглазой. А она на красавчика Неверова заглядывалась...

Ничего моя смерть в мире не изменила. У бочки с квасом очередь стоит. На улице Панферова часто ветер дует. И Земля с орбиты не сошла, так и крутится, дура, по закону Кеплера.

А я в бабочку превратился. Не адмирал и не павлиний глаз, конечно, но тоже, ничего... С черными капельками на кончиках крылышек. Поначалу меня все на цветочки тянуло, нектаром баловался... В воздухе кувырчался, шалил. Птиц сторонился, хотя и объяснили мне, – бояться нечего... Своих искал, но как будто кто сиреневый гребень у меня перед глазами держал. Видел дома, провода, автобусы, трамваи, тротуары... А вместо людей вроде тени. И лица у всех как тарелки. Так никого и не нашел. До самой осени по лесам, по полям носился. Море видел, – то ли Черное, то ли Белое. Из сил выбился. Потщило тут меня смертным ветром вверх, через облака. Оторвало крылышки. Облепило металлом небесным. Стал я похож на голубя серебряного... И уже не летел я, а винтом в пространство пустое врезался. Прямо на Луну меня притянуло. Наелся я там пыли и песка и в расщелине между серых скал затаился...